

НАТАЛЬЯ
ГОРБАНЕВСКАЯ

РУССКИЙ

ГУЛЛИВЕР

ГОРОДА
И ДОРОГИ

Наталья Горбаневская

**Города и дороги. Избранные
стихотворения 1956-2011**

НП «Центр современной литературы»

Горбаневская Н. Е.

Города и дороги. Избранные стихотворения 1956-2011 /
Н. Е. Горбаневская — НП «Центр современной литературы»,

ISBN 978-5-91627-118-8

Москва, Париж и многие другие города — пунктир этого избранного Натальи Горбаневской за 50 лет. А в городах и между городами лежат исхоженные улицы и переулки, дороги, изъезженные трамваями, автобусами, электричками, грузовиками, поездами (включая этап в вагонзаке), самолетами... И всё это — один путь, не прямой, нелегкий, путь от хлябей к тверди.

ISBN 978-5-91627-118-8

© Горбаневская Н. Е.
© НП «Центр современной
литературы»

Содержание

Несколько слов от автора	6
«Данный мир...»	7
«Отражение фонаря в луже...»	9
«Мы согреем холодные стены сарая дыханием своим...»	10
«Колокола и купола...»	11
«А чего ты? А я ничего...»	12
«Все равно потом...»	13
«О город, город, о город, город...»	14
«Я в лампу долью керосина...»	15
«В аракчеевом Чудове...»	16
Три стихотворения, написанные в дороге	17
«Прохожий – проходи...»	19
«Сила соленого ветра...»	21
«Говорить разучусь...»	22
Неоконченные стихи	23
«Но нет меня в твоём условном мире...»	24
«Окраины враждебных городов...»	25
Суханово	26
«Здесь, как с полотен, жжется желтый полдень...»	27
«...и теплых желтых звезд мимозы...»	28
«Страстная, насмотришься на демонстрантов...»	29
Беляево-Богородское	30
«Волхонка пахнет скошенной травой...»	31
«И горы глухи, и долины дики...»	32
«Глухого дерева листва...»	33
«Любовь моя, в каком краю...»	34
Воспоминание о пярвалке	35
«Какая безлунной, бессолнечной ночью тоска подступает...»	36
«Вздохнет, всплакнет валторна электрички...»	37
«Как вольно дышит Вильно по холмам...»	38
«Протяжная вечерняя трава...»	39
«Но что на этом темном этаже...»	40
«Не выплыву, не доплыву...»	41
«Что там за шорох...»	42
«Москва моя, дощечка восковая...»	43
«В аквариум света вплывешь, поплывешь близорукою тенью...»	44
«И знойно, и пыльно, и пух тополиный...»	45
«Спешу насладиться касательной негой слепого дождя...»	46
«Это я не спасла ни Варшаву тогда и ни Прагу потом...»	47
«Всё. С концами. Не в этой жизни...»	48
«В ладоши ладожские льдины...»	49
«Это голос мой, голос мой – или...»	50
«Пейзаж – как страж в дверях моей души...»	51
«Новая волна»	52
«Вот в чем, а впрочем, и не в том вопрос...»	53
«Не в крыле самолета...»	54

«Печальное не более, чем прочие...»	55
«О ком ты вспомнила, о ком ты слезы льешь...»	56
«В малиннике, в крапивнике, в огне...»	57
«Фонарик мой, качайся в облаках...»	58
«Цвет вереска, чернильный блеск...»	59
«Который час? (Какая, кстати, страсть...»	60
«На пороге октября...»	61
«Не спи на закате...»	62
«Гримасою прощальной...»	64
«Как молчаливы эти ивы, эти вербы...»	65
«Тень мой, стин мой, тихий стон...»	66
«Как искрится черемуховый ворох...»	67
«Взлетаю вверх усилием слабых плеч...»	68
«Как хочется мне...»	69
«— Так ты летишь, смешная?...»	70
«Не встретила бы нас Москва дождем...»	71
«Мое любимое шоссе...»	72
«Зачем на слишком шумный Сен-Жермен...»	73
«Как джинсы начинают выгорать...»	74
«И за что мне все это досталось...»	75
«Дождь похож на дождь, но не...»	76
«Хотела только вымолвить: «Пари...»	77
«Я изменяю вам всем с этим городом...»	78
«Непоправимо холодно...»	79
«Разговор, которого никогда...»	80
«Мокро, холодно, свежо...»	81
«Пропоешь, и припев повторишь, и примолкнешь...»	82
«Вот она, la vie quotidienne...»	84
«Снег с Вогез обращается в облако...»	85
«Доски дома поскрипывают, просыхая...»	86
«— — — и на четвертом стуке...»	87
«Это жизнь продолжается, это жизнь...»	88
«О бедная, дряхлая, впавшая в детство...»	89
«В седой провинции свинцовый океан...»	90
«Флейта в метро исполняет равелеподобное нечто...»	91
«Смотри, сегодня Сена — серо-...»	92
Конец ознакомительного фрагмента.	93

Наталья Горбаневская

Города и дороги Избранные стихотворения 1956–2011

Несколько слов от автора

Это мое второе «тематическое избранное», которое я предложила издательству «Русский Гулливер», а издательство предлагает читателю. Первым была книга, озаглавленная церковно-славянской строкой из псалма «Прильпе земли душа моя», и, как легко догадаться, в нее вошли стихи, условно говоря, с религиозными мотивами.

Нынешнюю книгу можно назвать сборником городской и особенно дорожной лирики. Она вышла гораздо объемнее, хотя это отнюдь не «записки путешественника». Но я и стихи-то сочиняю (точнее: у меня и стихи-то сочиняются) по преимуществу в движении: на ходу или в самых разных видах транспорта, от трамвая до самолета. А кроме того есть в дороге еще одно свойство, в силу которого отдельные стихотворения попали и в тот, и в этот сборник. Я писала об этом в коротком тексте под названием «Дорога и путь» (см. мою книгу «Прозой: о поэзии». М.: Русский Гулливер, 2011). Приведу отрывок оттуда:

«В начале жизни – а нам долго кажется, что она все еще начинается, – живя легкомысленно и со дня на день, мы обычно знаем лишь дорогу, дороги, передвижение в пространстве. Для меня первой такой дорогой стали многочисленные поездки автостопом в Ленинград, Псков, Таллин, Тарту, Ригу, Вильнюс. Эти дороги я и по сей день вспоминаю ностальгически, они появлялись и появляются во многих моих стихах. Вторая важнейшая дорога – но в большей и более осознанной степени путь – вела меня в эмиграцию. «Перелетая снежную границу» – так называется мой первый парижский сборник стихов, куда вошли две тетради стихов, написанных в России, и три – в Париже.

Но, живя жизнь и где-то к старости наконец взрослея, понимаешь, что главное – не само географическое передвижение, даже если перемещаешься по другую сторону железного занавеса. Не дорога, а путь. И что ни день припоминаешь страшные слова: «Я есмь путь и истина и жизнь». Страшные, потому что страшно и трудно идти этим путем, воистину тернистым, следовать Тому, Кто сказал одному ученику: «иди за Мною», – но Он же потом сказал другому: «куда Я иду, ты не можешь теперь за Мною идти». Страшно и трудно: «...широки врата и пространен путь, ведущие в погибель (...) тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь». ПУТЬ – синоним «дороги», но от нас зависит, станет ли он синонимом гибели или ЖИЗНИ. Жизни и истины. Об этом пути все чаще идет речь в моих стихах».

В отличие от первого сборника я снабдила здесь многие стихи примечаниями. В основном они относятся к географическим и топографическим реалиям, но иногда мне казалось важным и указать источники прямых и скрытых цитат, хотя постаралась себя ограничить.

«Данный мир...»

Данный мир
удивительно плосок.
Прочий
заколочен наглухо.
Не оставили даже щель между досок.
Старались. Мастера.

Два
измерения в этом мире.

А мне
и трех мало.
Бьешься лбом,
во вселенную дверь взломала,
а окажешься в чужой квартире.

И то лучше —
комнатным вором,
чем в своих четырех без окон.

Мне хочется встать и выйти на форум.

Но Форум
это кинотеатр на Самотеке.

Там кажут кино на широком экране,
безнадёжно плоском, как полотна Иогансона,
и каждую меру знаешь заранее,
и всё по регламенту – чинно и сонно.

А нам вот
не снятся спокойные сны.
Нам хочется странного —
например, глубины.

Глубина.
Кто мне скажет —

что же она?
Океан?
Или, может,
чужая душа?
Но чужая душа как известно потемки.
Так возьмемте по старой котомке на плечо
и пойдем

на четыре стороны света
посмотреть
не найдется ль в заборе дыр,
поискать
не нами потерянный мир
и выпрашивать крохи небесного света
у прогневших колодцев
и сереньких тучек,
не загадывая феерий.
Пусть феерии ставит талантливый Плучек.

К сожалению
мы бутафорам не верим.

Прочий /заколотен наглухо. /Не оставили даже щель между досок. ⇒ Как видно, «железный занавес» я в то время представляла себе скорее дощатым.

Но Форум /это кинотеатр на Самотеке. ⇒ На самом деле кинотеатр «Форум» был не на Садовой-Самотечной, а по другую сторону Самотечной площади, на Садовой-Сухаревской.

...там кажут кино на широком экране... ⇒ Тогда только-только появилось широко-экранное кино.

...безнадёжно плоском, как полотна Иогансона... ⇒ Борис Иогансон был одним из столпов и символов соцреализма в живописи.

Пусть феерии ставит талантливый Плучек. ⇒ Режиссер Валентин Плучек тогда поставил в Театре Сатиры «Мистерию-буфф», которой почему-то восторгалась вся московская «леволиберальная» публика.

«Отражение фонаря в луже...»

Отражение фонаря в луже
поколеблено дождем мелким.
Утопает бурый лист палый.
Как недвижим под дождем город.
Только пойманный фонарь бьется.

«Мы согреем холодные стены сарая дыханьем своим...»

Мы согреем холодные стены сарая дыханьем своим.
Мы прославим шершавое сено во многих стихах и новеллах,
А уйдем, и от дома останется пепел, железо и дым.
И деревья с такими листьями, как уголь. И ветер, наверно.

Ветер крутит в трубе, и гудит, и ревет, как несытое пламя.
И на сажу ложатся сердито косые захлёсты дождя.
Мы простимся на мокром фанерном перроне с сухими глазами.
Пепел по ветру пущен, наверно. И поезд гудит, отходя.

«Колокола и купола...»

Колокола и купола,
и ранним-ранним утром
уходят те, кому пора
в далекую дорогу.

Колокола подвязаны,
и купола подрезаны,
и возле пристани во льду
черные лодки.

«А чего ты? А я ничего...»

А чего ты? А я ничего.
Я хожу по мостам и проспектам,
по прогалинкам и просветам,
и не надо мне ничего,
ни ответа и ни приветов,
и ни голоса ничьего.

А зачем это? А низачем.
Просто я не в аптеке провизор,
а ходок по корявым карнизам,
просто город пронизан лучом,
не имеющим предназначенья,
просто незачем – и низачем.

Я ходок по карнизам и трубам.
Но откуда я? Как объяснить?
То ли города, города рупор,
то ли горя горького нить.

Ах, откуда я? Из раскопок?
Из грядущего? Как знать?
Вся я вытасканный из-за скобок
вопросительный выгнутый знак.
Зацепившись за солнечный круг,
вопросительный сломанный крюк.

«Все равно потом...»

Все равно потом
нипочем не вспомнят,
был ли Данте гвельф
или гибеллин,
и какого цвета
флаг,
и был ли поднят,
и в каком огне
себя он погубил.

Ох, могила братская,
сторона арбатская,
во Флоренцию махнуть,
помолиться,
Алигьери помянуть,
поклониться.

Все равно потом / нипочем не вспомнят, / был ли Данте гвельф / или гибеллин... ⇒
Я имела в виду не то, что буквально «не вспомнят»: всегда можно справиться в историях, предисловиях и словарях, – а что это станет неважно (хотя для самого Данте было важно). Много лет спустя я нашла похожую точку зрения: “Для нас неважно, что «черные» гвельфы дурно управляли Флоренцией и что много достойнейших граждан было изгнано ими вместе с Данте и вместе с ним обречено на «горький хлеб и крутые лестницы» чужих домов. (...) Распри гвельфов и гибеллинов (...) вошли в величайшее из всех написанных на земле произведений поэзии. (...) Стих Данте дал всему равное бессмертие, невзирая на то, что было вложено в него, – проклятие или благословение” (Муратов, «Образы Италии»).

...во Флоренцию махнуть... ⇒ Написано, конечно, с твердым – но, как оказалось, ошибочным – знанием, что никакой Флоренции автор никогда не увидит (да и существует ли она?).

«О город, город, о город, город...»

О город, город, о город, город,
в твою родную рвануться прорубь!

А я на выезде из Бологого
застряла в запасных путях,
и пусто-пусто, и голо-голо
в прямолинейных моих стихах.

И тихий голос, как дикий голубь,
скользя в заоблачной вышине,
не утоляет мой жар и голод,
не опускается сюда ко мне.

Глухой пустынный путейский округ,
закрыты стрелки, и хода нет.
Светлейший город, железный отрок,
весенний холод, неверный свет.

«Я в лампу долю керосина...»

Я в лампу долю керосина.
Земля моя, как ты красива,
в мерцающих высях вися,
плетомая мною корзина,
в корзине вселенная вся.

Земля моя, как ты красива,
как та, что стоит у залива,
отдавшая прутья свои,
почти что безумная ива
из тысячелетней любви.

Земля моя, свет мой и сила,
судьба моя, как ты красива,
звезда моя, как ты темна,
туманное имя Россия
твое я носить рождена.

...почти что безумная ива / из тысячелетней любви... ⇔ «Ива, зеленая ива» из песни Дездемоны (Шекспир, «Отелло», пер. Б.Пастернака) плюс безумие Офелии: «Есть ива над потоком, что склоняет / Седые листья к зеркалу волны... / Она старалась по ветвям развесить / Свои венки; коварный сук сломался, / И травы, и она сама упали / В рыдающий поток» (Шекспир, «Гамлет», пер. М.Лозинского). Однако сама эта контаминация: «безумная ива» как знак двух шекспировских героинь – идет не прямо от Шекспира, а от Пастернака: «Когда случилось петь Дездемоне, – / А жить так мало оставалось, – / Не по любви, своей звезде она, / По иве, иве разрыдалась. (...) Когда случилось петь Офелии...» («Уроки английского»). Кстати, есть еще более ранний пример и более тесного объединения Офелии, Дездемоны и ивы: «Я болен, Офелия, милый мой друг, / Ни в сердце, ни в мысли нет силы. / О, спой мне, как носится ветер вокруг / Его одинокой могилы. // Душе раздраженной и груди больной / Понятны и слезы, и стоны. / Про иву, про иву зеленую спой, / Про иву сестры Дездемоны» (Фет).

«В аракчеевом Чудове...»

В аракчеевом Чудове
на вокзале сплю,
засыпаю, просыпаюсь,
электричку жду,
чуть ли не сны
во сне смотрю,
чуть ли не плачу
у всех на виду.

Вокзал да казарма,
да шпалера деревец,
да шпалера журавлей
на юг, на юг,
проснуться – не проснуться,
зареветь – не зареветь,
журавли во сне
себя не узнают.

Казармы да базары,
фанера да жесть,
подстреленный журавль
взлетает в вышину,
на месте вокзала
пожар зажечь,
чем ярче – тем жарче,
в высоту и в ширину.

Вокзал стоит,
фонарь горит,
у зажигателя
смятенный вид,
не подвигается
дело к весне,
во сне попутал Господь,
во сне.

На вокзале в *Чудове* я действительно один раз (осенью 1963) спала, оказавшись там по пути в Ленинград автостопом поздно ночью (или скорее рано утром), когда очередную машину поймать уже не удавалось. Решив ждать первой электрички, я уснула на скамейке в зале ожидания, а проснувшись, не обнаружила очков, положенных перед сном возле щеки. Так я и появилась в Ленинграде, ходя почти на ощупь. Кстати, именно к этому разу (не путаю, потому что воспоминание о словах привязано к расплывчатости всех очертаний) относятся слова Ахматовой: «Опять приехала Наташа на встречных машинах».

Три стихотворения, написанные в дороге

1

Утро раннее,
петербургская темь,
еду в Юрьев
на Юрьев день.

Утро синее,
солнце в гробу,
еду по свету
пытать судьбу.

Под фонарями
и то не светло,
по улице Бродского
иду в метро.

2

Но Кюхля Дерпту предпочел
водовороты декабризма,
от Петербурга слишком близко
спасительный тот был причал.

Нет, пол-Европы проскакать,
своею жизнью рисковать
в руках наемного убийцы
и, воротясь к земле родной,
как сладостною пеленой,
кандальной цепию обвиться.

3

Г. Корниловой

Господи, все мы ищем спасенья,
где не ищем – по всем уголкам,
стану, как свечка, на Нарвском шоссе я,
голосую грузовикам.

Знаю ли, знаю ли, где буду завтра —
в Тарту или на Воркуте,
«Шкода» с величием бронтозавра
не прекращает колеса крутить.

Кто надо мною витает незрим?
Фары шарахают в лик херувима.
Не проезжай, родимая, мимо,
иначе все разлетится в дым.
Не приводят дороги в Рим,
но уходят все дальше от Рима.

...еду в Юрьев... (1); Но Кюхля Дерпту предпочел... (2); Знаю ли, знаю ли, где буду завтра — в Тарту или на Воркуте... (3) ⇒ Юрьев, Дерпт, Тарту — три названия одного и того же города.

...по улице Бродского /иду в метро. ⇒ Улица художника Бродского в Ленинграде — ныне в СПб снова Михайловская. В стихотворении она, конечно, «переименована» в честь ссыльного поэта. После смерти Иосифа я закончила свою статью о нем вопросом, не переименовать ли ее обратно.

Но Кюхля Дерпту предпочел / водовороты декабризма. ⇒ «Приезжай в ерпт, Дерпт — хороший город» (так зовут Кюхельбекера в Дерпт в романе Тынянова «Кюхля». Мне — но уже после этой поездки — неоднократно повторяли эту фразу мои тартуские друзья). Ср. «Давно б на Дерптскую дорогу / Я вышел утренней порой (...) Но злобно мной играет счастье: / Давно без крова я ношусь, / Куда подует самовластье...» (Пушкин, «К Языкову»). «Шкода» с величием бронтозавра... ⇒ «Шкода» — один из тех грузовиков, которые никогда не останавливались, чтобы подобрать меня; другой — «Татра», по существу здесь фонетически (вплоть до рифмы «завтра — бронтозавра») подразумеваемый.

Не приводят дороги в Рим... ⇒ Возражение на расхожее утверждение о том, что все дороги ведут в Рим. (Рима «не существовало» — как и Флоренции.)

«Прохожий – проходи...»

Прохожий – проходи!
Проезжий – проезжай!
Свеча в окне чади,
и стынь в вагоне чай.
И все при деле так,
что некогда взглянуть
по сторонам, и так,
что не о ком вздохнуть.

При деле, как свеча,
как чашка с кипятком,
как инвалид, стуча
в полтинник пятаком,
в зубах зажав картуз
и, глядя, что дают,
скосив глаза ко рту.
Но тут не подают.

Качается вагон,
качается костыль,
и кажется ногой
дубовая бутылъ,
и горлышком об пол,
и горлом о косяк,
и всем лицом в подол,
совсем глаза скося.

Припав к теплу колен,
локтей, кистей, колец,
почуяв, захмелев,
качаниям конец,
при деле, как в огне
темнеющий фитиль,
как наотлет к стене
отставленный костыль.

Тоску в тоску продев,
как тень свечи в углу,
при деле, как предел
и роду, и числу,
как недопитый чай,
качаемый в пути...
Прохожий, проезжай.
Проезжий, пролети.

Сюжет этого стихотворения Н. Я. Мандельштам резюмировала: «Так он у вас еще и даму нашел».

«Сила соленого ветра...»

Сила соленого ветра,
света, листвы и воды,
свитер небесного цвета,
выцветший до слепоты,
лодка, стучащая в дальних
волнах, и вскрик на песке,
след мой невысохший вдавлен
в дюны, песок на виске.

«Говорить разучусь...»

Говорить разучусь,
не совсем, так по-русски,
со всеми разлучусь,
не навек, так на годы,
нет меня ни
у Невы, ни у Таруски,
переменила
я слова и глаголы.

Свинцовые волны,
чужое море,
сосновые чёлны,
сухие весла,
а паруса
проедены молюю,
а голоса
шуршат, как известка.

.....
.....
.....
.....

Но и там меня нету,
сколько зим, столько лет,
проплывя через Лету,
простывает мой след,
остывает горло,
холодеет щека,
и рука примерзла
к руке на века.

...нет меня ни / у Невы, ни у Таруски... ⇒ Таруска – река, протекающая в Тарусе Калужской обл. Стихи выглядят сделанным за десять лет вперед предсказанием эмиграции (хотя здесь имеется в виду лишь «эмиграция» в чужую речь – см. ниже), когда никакого намека на ее возможность не было и никакого желания, естественно, тоже.

...переменила / я слова и глаголы. ⇒ Ср. «Мне хочется уйти из нашей речи...» (Мандельштам).

...проплывя через Лету... ⇒ Объяснять ли в примечаниях, что такое Лета? Пожалуй, один раз: река забвения в царстве мертвых (у древних греков). Но еще и «там, у устья Леты-Невы» (Ахматова, «Поэма без героя»). Лета (в обоих этих соотнесениях) будет встречаться у меня неоднократно.

Неоконченные стихи

А. Рогинскому

Уж за полночь, и фонари
горят через один,
теперь до утренней зари
по городу броди.

Ночь соскребла с фасадов год
и соскоблила век,
и город пуст, как огород,
но город, как ковчег,

плывет, плывет и вот всплывет
в рассветный холодок,
и меж окон и у ворот
проступит век и срок,

и ты очнешься на мосту,
над Яузой, в слезах...

Арсений Рогинский, которому посвящено стихотворение, – тогда юный студент Тартуского университета, один из двух ленинградцев, которых я в то лето водила по Москве и сумела убедить в красоте города. Позднее – историк, архивист, политзаключенный, негласный редактор исторических сборников «Память», представителем которых на Западе я была. Теперь москвич и главный человек в «Мемориале».

...над Яузой, в слезах. – Яуза – приток Москвы-реки.

«Но нет меня в твоём условном мире...»

Но нет меня в твоём условном мире,
и тень моя ушла за мной вослед,
и падает прямой горячий свет
на мой коряворукий силуэт.

Опять моя отрада мерить мили
в грохочущих, как театральный гром,
грузовиках, ободранных кругом,
и взмахивать рукою, как крылом.

Одни дороги мне остались милы,
и только пыльный плавленный асфальт
из-под колес бормочет: – Не оставь,
не доезжай, Наталья, до застав.

Одни дороги мне остались милы.
Опять моя отрада мерить мили.
Но нет меня в твоём условном мире.

«Окраины враждебных городов...»

Окраины враждебных городов,
где царствует латиница в афишах,
где готика кривляется на крышах,
где прямо к морю катятся трамваи,
пришелец дальний, воздухом окраин
вздыхни хоть раз, и ты уже готов,
и растворён навстречу узким окнам,
и просветлён, подобно крышам мокрым
после дождя, и все твоё лицо
прекрасно, как трамвайное кольцо.

Сочинено в Риге.

Суханово

Безлиственная легкость
пустых апрельских рощ,
зеленый мох, прозрачный
ручей, холодный хвощ.

Беспамятная легкость
как сном размытых слов,
прозрачный день, зеленый
осинник в сто стволов.

Реки изгиб холодный,
и в дальнем далеке
скрипит прозрачный ветер
в румянном ивняке.

«Здесь, как с полотен, жжется желтый полдень...»

Здесь, как с полотен, жжется желтый полдень,
и самый воздух, как печаль, бесплотен,
и в полной тишине летучим войском
висят вороны в парке Воронцовском.

Но ветхая листва из лет запрошлых
к моим локтям цепляется, к ладошкам
прокуренным, и в спутанные кудри
пустой кустарник запускает руки.

Я так далёко отошла от дома,
как самолетик от аэродрома
в густом тумане в темень отплывая...
Жива, мертва, листва или трава я?..

...висят вороны в парке ⇒ Воронцовском. Воронцовский парк – на окраине Москвы, в Новых Черемушках, возле моего тогдашнего места работы.

«...и теплых желтых звезд мимозы...»

...и теплых желтых звезд мимозы
до лета нам не сохранить.

И Ленинградского вокзала
привычно резкая тоска,
как звон сухого тростника
среди сыпучего песка.

«Страстная, насмотришься на демонстрантов...»

Страстная, насмотришься на демонстрантов.
Ах, в монастырские колокола
не прозвонить. Среди толпы бесстрастной
и след пустой поземка замела.

.....
.....

А тот, в плаще, в цепях, склонивши кудри,
неужто всё про свой «жестокий век»?

Страстная, насмотришься на демонстрантов... ⇒ Первые московские демонстрации (на которых я, впрочем, ни разу не была) проходили на Пушкинской (Страстной) площади, у памятника Пушкину.

Точками заменены две первых строки второго четверостишия, печатавшиеся в первой публикации, – потом я их сочла слишком заужающими смысл.

А тот, в плаще, в цепях (...) неужто всё про свой «жестокий век»? ⇒ Памятник Пушкину, как многие памятники XIX века, по земле окружен цепями.

...склонивши кудри... ⇒ «Когда сюда, на этот гордый гроб / Пойдете кудри наклонять и плакать» (Пушкин, «Каменный гость»)

Беляево-Богородское

Окраина, столица сквозняков,
где вой волков моей любви вторит,
где только снег в снегу тропинку торит,
где в дверь звонóк длинён, как звон оков,
где звóнок смех, как шелканье подков,
а слезы горячи, легки и горьки,
а горечь их, как санки с белой горки,
скатилась и просохла на щеках...
Столица слез и снов на сквозняках.

На этой московской окраине несколько месяцев в 1967 я снимала квартиру. Москва здесь кончалась, на другой стороне улицы (за которой теперь расположен Теплый Стан) не было ничего, кроме ветра, который налетал с такой силой, что валил телефонные будки.

«Волхонка пахнет скошенной травой...»

Волхонка пахнет скошенной травой,
словно Ван Гог прошелся по пригорку,
а граф Румянцев, скинув треуголку,
помахивает вверх по Моховой,

помахивает вострую косой,
покачивает острою косичкой,
но пропорохни по тротуару спичкой —
и полыхнет Волхонка полосой,
потянется от скверов и садов
чистейшая, душистейшая копоть,
и лопаться начнут, в ладоши хлопать
камни обоих Каменных мостов.

А мне, посреде пустынной мостовой
сгибая и распахивая локоть,
по Моховой, по мху сухому плакать,
поплачь, поплачь, как тетерев-косач,
скоси глаза, уставься в небеса,
не уставай, коси, не остывай,

сухою и горячею травой
пропахла кособокая Волхонка,
а город тих, как тихнет барахолка,
когда по ней проходит постовой.

Волхонка пахнет скошенной травой, / словно Ван Гог прошелся по пригорку, / а граф Румянцев, скинув треуголку, / помахивает вверх по Моховой... ⇒ На Волхонке находится Музей изобразительных искусств с пейзажами Ван Гога (замечу, что и с двумя разными «Стогами» Моне, но его я почему-то косцом не представляю), а на Моховой – бывший Румянцевский музей (во время написания стихотворения – Библиотека им. Ленина; впрочем, в это время и Моховая вместе с Охотным рядом называлась проспектом Маркса – никогда не признавала, ни разу в жизни не произнесла).

...камни обоих Каменных мостов. ⇒ Большой Каменный мост (через Москву-реку) находится прямо рядом с вышеописанным местом действия. Малый (через рукав той же реки) – сразу за Большим.

«И горы глухи, и долины дики...»

И горы глухи, и долины дики,
туманный смутен мост,
и вбиты в небо белые гвоздики
рассветных звезд.

И на краю земли
в окне кружится занавеска,
как весточка о лете, как повестка
на сборы земляник.

И алы пятнышки на белой коже
моей щеки
просохнут на полуденной жаре.
И сумерки взойдут из-за горы,
белесы и легки,
как всплывшие в туман грузовики.

«Глухого дерева листва...»

Глухого дерева листва
стволу не дозвонится,
с крутого берега Москва
сама себе приснится.

А ты – который видишь сон
в разрыве скал, в разливе
звезд, крупных, как сухая соль
в заиленном заливе.

В заливе звезд, в разливе рек,
в глухом разрыве сердца
всплывает сон, как из-под век
глядеть – не наглядеться

всплывает солнце. Исподвóль
заря приснится веку.
Соль на губах, на веках соль,
и ветер клонит ветку.

«Любовь моя, в каком краю...»

Любовь моя, в каком краю
– уже тебя не узнаю —
какие травы собираешь?
И по бревну через ручей,
сложивши крылышки, на чей
призыв навстречу выбегаешь?

Твоя забытая сестра
не на ветру, не у костра —
в глухой тюрьме заводит песню
и, тоже крылышки сложив,
щемящий оборвет мотив,
когда уйдет этап на Пресню.

Написано в следственной камере Бутырской тюрьмы

...когда уйдет этап на Пресню. ⇒ Имеется в виду Шелепихинская пересыльная тюрьма (в просторечии Пресня). Рифма навеяна слышанным в детстве по радио: «Вот спою такую песню, / Ходил молодец на Пресню. / Под вечерок / Путь недалек».

Воспоминание о пярвалке

На черном блюдечке залива
едва мерцает маячок,
и сплю на берегу залива
я, одинокий пешеход.
Еще заря не озарила
моих оледенелых щек,
еще судьба не прозвонила...
Ореховою шелухой
еще похрустывает гравий,
еще мне воля и покой
прощальных маршей не сыграли,
и волны сонно льнут к песку,
как я щекою к рюкзаку
на смутном берегу залива.

Пярвалка – деревня на Куршской косе в Литве. Я приехала туда, высадившись с катера в Ниде нелегально (Куршская коса была объявлена заповедником, и без пропуска въезд не разрешался, а пропуска я не достала). Боясь, что меня изловят, я пустилась в путь на ночь глядя, стараясь уходить от шоссе, которое, по моим опасениям, могло завести меня к пограничникам, и в конце концов заночевала на берегу, как то и описано. Наутро со своего края «дуги залива» (одной из многочисленных бухт; здесь я использую оборот из более позднего стих. «В малиннике, в крапивнике, в огне...» я увидела на противоположном, наверное в полукилометре, Пярвалку, где меня ждала Наталья Трауберг (моя будущая крестная) со своей семьей.

«Какая безлунной, бессолнечной ночью тоска подступает...»

Какая безлунной, бессолнечной ночью тоска подступает,
но храм Покрова за моею спиною крыла распускает,
и к белому лбу прислоняется белое Лобное место,
и кто-то в слезах улынулся – тебе ль, над тобой, неизвестно.

Наполнивши временем имя, как ковшик водой на пожаре,
пожалуй что ты угадаешь, о ком же деревья дрожали,
о ком? – но смеясь, но тоскуя, однако отгадку припомня,
начерпаешь полною горстью и мрака, и ливня, и полдня,

и звездного неба... Какая тоска по решеткам шныряет,
как будто на темные тесные скалы скорлупку швыряет,
и кормщик погиб, и пловец, а певец – это ты или кто-то?
Летят, облетят, разлетелись по ветру листки из блокнота.

Под стихотворением стоит датировка: осень 1968 – весна 1970, начато на воле, закончено в Институте Сербского

...но храм Покрова за моею спиною крыла распускает... ⇒ Храм Покрова, «что на Рву», на Красной пл. в Москве, в обиходе (по одному из своих приделов) известный как храм Василия Блаженного.

...и к белому лбу прислоняется белое Лобное место... ⇒ На тротуарчике около Лобного места мы проводили свою демонстрацию 25 августа 1968.

«Вздохнет, всплакнет валторна электрички...»

Вздохнет, всплакнет валторна электрички,
недостижимый миф.
По решке проскользнет сиянье спички,
весь мир на миг затмив.

Вспорхнет и в ночь уносится валторна.
Пути перелистать,
как ноты. О дождливая платформа,
как до тебя достать?

Пустынная, бессонная, пустая,
пустая без меня,
и клочья туч на твой бетон слетают,
как будто письма,

и, хвостиками, точками, крючками
чертя по лужам след,
звонят они скрипичными ключами
ушедшей вслед.

По решке проскользнет сиянье спички... ⇒ Решка – тюремная решетка.

О дождливая платформа, /как до тебя достать? ⇒ Гудки электричек, шедших от Савеловского вокзала к Белорусскому, доносились до тюрьмы, и я явственно представляла себе платформу на Бутырском валу, но ее там нет.

«Как вольно дышит Вильно по холмам...»

Как вольно дышит Вильно по холмам —
как я после последнего объятья.
Но почему задернуты распятъя?
И почему расстаться надо нам?

Под пеленою пыли дождевой,
под мартовскою снежною завесой
ответит голос за рекой, за лесом,
за Польшею и, значит, за Литвой.

Откликнется и скажет, почему,
и скажет: Ни к чему твой плач ему.
И этот тихий голос на горе —
как дрожь души на утренней заре.

Вильно – польское название Вильнюса.

Но почему задернуты распятъя? ⇒ Действие происходит на католической Страстной неделе.

«Протяжная вечерняя трава...»

Протяжная вечерняя трава,
прижми лицо к лицу и стебель к стеблю,
над степью
предвестие зимы виденьем Покрова.

Заря звезды висит, как будто в петлю
продела голову, кровавы дерева,
но первая роса по-прежнему права,
но лик земли с заоблачностью сцеплен.

А белый чад, застлавший горизонт,
болота иссушённого исчадь,
какое он еще сулит несчастье,
любви погибель, городу разгром,
или в пыли дорожной легкий след
сотрет навеки, до скончанья лет?

А белый чад, застлавший горизонт, / болота иссушённого исчадь.. ⇒ . Лето 1972, когда под Москвой горели торфяники (в первой публикации стоит дата – 14 авг. 1972).

«Но что на этом темном этаже...»

Но что на этом темном этаже,
где даже лифт боится задержаться,
что там за дверью, в глубине, в душе,
где даже пятна света не ложатся,

где капелька по капельке течет
ночная тишина и поволока,
где проволока тонкая сечет,
едва коснешься звездного порога,

где повилика вьется по стене,
холодная и влажная на ощупь,
и палевых ресниц не видно мне,
и не проникнет голос твой извне.
Площадка этажа пуста, как площадь,
как площадь в некончающемся сне.

«Не выплыву, не доплыву...»

Не выплыву, не доплыву.
На облаках, как наяву,
роняют чайки плач в Неву,
и этот сизый хрип,
и эти капельки свинца,
где нет ни смерти, ни конца,
где целят в бедные сердца,
но не достанут их.

Когда высокая роса
печаль возносит в небеса,
когда осталось полчаса
до солнечных ворот,
на тинистом холодном дне,
в зеленой вязкой глубине
воронку прокрутил во мне
крутой водоворот.

Я ж знала, что не может быть,
что не дана мне ваша прыть,
что мне не выплыть, не доплыть,
я же сказала вам!
Но, как болванчик неживой,
вы покачали головой,
и я мелькнула над Невой,
и я осталась там.

Всплывают ловкие пловцы,
любви легкие ловцы,
срезают пену с волн – с овцы
так состригают пух.
В последней жалкой наготе,
не на кресте, не на гвозде,
полу в песке, полу в воде —
чей взор навек потух

«Что там за шорох...»

Т. Борисовой

Что там за шорох?
Это шоссе обо мне скучает.

Что там за шелест?
Это ветер осину качает.

Это в Апшущиемсе
шепчутся волны залива.

Это небо над Балтикой
ждет моих глаз,
чтобы дождь со слезами смешался.

Это ветер осину качает. / Это в Апшущиемсе / шепчутся волны залива. ⇒ Апшущиемс – рыбацкий поселок (название от латышского «апшу» – «осина») на берегу Рижского залива, где в те годы отдыхало несколько семей, в т. ч. и Борисовы (продолжавшие туда ездить и в последние годы, уже с внуками). Я там побывала дважды, в 1972 и 1973: один раз – с моим крестным сыном, поэтом Дмитрием Бобышевым, другой – с моим старшим сыном Ярославом. Увы, здесь же, в Апшущиемсе, 29 июля 1997 утонул глава семьи – Дима (Вадим) Борисов (см. дальше стих. «Перекличка»).

«Москва моя, дощечка восковая...»

Москва моя, дощечка восковая,
стихи идут по первому снежку,
тоска моя, которой не скрываю,
но не приставлю к бледному виску.

И проступают водяные знаки,
и просыхает ото слез листок,
и что ни ночь уходят вагонзаки
с Казанского вокзала на восток.

Москва моя.. ⇒ Из советской песни: «...Москва моя, ты самая любимая». Вообще очень советский оборот, взятый здесь «наоборот», хотя и «моя», и «любимая» – все правда.

...и что ни ночь уходят вагонзаки / с Казанского вокзала на восток. ⇒ Основные вокзалы отправления тюремно-лагерных этапов из Москвы – Ярославский и Казанский, меня в Казань везли с Казанского (начало января 1971).

«В аквариум света вплывешь, поплывешь близорукою тенью...»

В аквариум света вплывешь, поплывешь близорукою тенью
и влажной рукой проведешь по границе незримой
задернешь завесу и горько предамся и тьме и смятенную
пронзая рыданием родимый пейзаж полузимний

Раскатаны полосы черного льда на промокнувших аллеях
алеют полосы зари в бахромке абажура
скамеечка скользкая слезная полночь немолчная флейта
все дергает за душу как за кольцо парашюта

И к этим до дна замороженным и до горячки простывшим
впотьмах распростертым убогим моим Патриаршим
прильну и приникну примерзну притихну поймешь ли
простишь ли
сбегая ко мне по торжественным лестничным маршам.

...родимый пейзаж полузимний (...) И к этим до дна замороженным и до горячки простывшим / впотьмах распростертым убогим моим Патриаршим.. ⇒ Издатели «Трех тетрадей стихотворений» указали, что Патриаршие пруды – место, где начинается действие «Мастера и Маргариты» (примечания составлялись без моего участия), но к стихотворению это не имеет никакого отношения. Патриаршие (в то время, кстати, Пионерские – но так их никто не называл) – это действительно «родимый пейзаж». В 1939–1950 я жила на ул. Чайковского (ныне по-старому Новинский бульвар) и уже в 4–5-летнем возрасте путешествовала по ближним и относительно дальним окрестностям, в т. ч. и в районе Спиридоновки, Большой и Малой Бронных, Трехпрудного, Патриарших.

«И знойно, и пыльно, и пух тополиный...»

И знойно, и пыльно, и пух тополиный
ложится удушливой пухлой периной
на горло, на год и на город.
И полузадушенный, полуразбитый
над высохшим руслом иссохшей ракитой
и алчет и жаждет мой голос.

**«Спеши насладиться касательной
негой слепого дождя...»**

Спеши насладиться касательной негой слепого дождя,
покуда не сохлась земля и не высохло небо,
покуда бегут в берегах полноводны Нева и Онега
и порох подмокший не стронулся с лона ружья.

«Это я не спасла ни Варшаву тогда и ни Прагу потом...»

Это я не спасла ни Варшаву тогда и ни Прагу потом,
это я, это я, и вине моей нет искупленья,
будет наглухо заперт и проклят да будет мой дом,
дом зла, дом греха, дом обмана и дом преступленья.

И, прикована вечной незримою цепью к нему,
я усладу найду и отраду найду в этом страшном доме,
в закопченном углу, где темно, и пьяно, и убого,
где живет мой народ без вины и без Господа Бога.

Это я не спасла ни Варшаву тогда и ни Прагу потом... ⇔ «Тогда» – в 1944, когда во время Варшавского восстания Красная армия стояла на правом берегу Вислы, «потом» – в 1968.

«Всё. С концами. Не в этой жизни...»

Всё. С концами. Не в этой жизни
островной
повстречаешься въяве и вживе
ты со мной,
только парус кружит и пружинит
над волной
Ахерона.

Раскачайся, ладья,
на стигийской воде,
вот и я в ладье
отплываю в нигде,
только парус дрожит
и скрипит ненадежная пристань.

Оттолкнись
от занозящих душу досок,
размахнись,
под весло примеряя висок,
и, с подошв отрясая песок,
наклонись —
но привстань,
оглянись —
но оставь
этот остров и этот острог.

...над волной / Ахерона... ⇒ Ахерон, или Ахеронт (др.-греч.) – река в подземном царстве, через нее переправлялись души умерших.

...на стигийской воде... ⇒ На воде Стикса, еще одной реки, текущей в древнегреческом царстве мертвых.

«В ладоши ладожские льдины...»

В ладоши ладожские льдины
хлопочет юная Нева,
дитя Удела и Ундины
и всех удильщиков вдова.

Слезой сладкой солодимы
апрельские как лед слова,
где ни конца, ни середины
и всё мольба или молва.

Под пол-куплета, пол-припева,
восток направо, запад влево,
когда линяет всякий зверь,
приотвори и выглянь в дверь,
не верь, не верь поэту, дева,
но и сама себе не верь.

«Это голос мой, голос мой – или...»

Это голос мой, голос мой – или
слабый рокот на ранней заре?
Но милей мне межзвездной медлительной пыли
эта пыль тополей во дворе,

этот сгорбленный, кривоарбатский
сонный запах запрошлых лет,
летний день, летний город, почти азиатский,
летний вечер и летний рассвет.

...этот сгорбленный, кривоарбатский... ⇒ Название Кривоарбатского переулка в Москве превращено в нарицательное прилагательное.

«Пейзаж – как страж в дверях моей души...»

Пейзаж – как страж в дверях моей души,
всё, всё отдашь – карандаши и перья,
любовь, надежду, веру и доверье,
как тот, что за щепотку анаши
не то что кошелек, а наизнанку
себя сейчас же вывернуть готов.
А весь пейзаж – чета кривых крестов
да серый мужичок, что спозаранку
на драный крест накладывает дранку.

«Новая волна»

Фрегат обрастает ракушками и побрякушками
и целится в пусто давно проржавевшими пушками,
бессмертные души на суше сухими лежат завитушками,
и мы говорим: – Бедный высохший выцветший бледный
коралл!

В протяжных лучах своего на песке отражения
исчахла висячая лампочка в полнапряжения
в сознании не бега по кругу, но вечного бездвижения,
которым когда-то как будто Коперник ее покарал.

Так что же, мой до смерти друг, позапозавчерашний
возлюбленный,
густой сухостой на ноже оставляет зазубрины,
за дюной таится и тает костер, и дымок подголубленный
лазоревым облачком, обликом юга колеблет балтийский
свинец.

Послушай, не слушай ничьих, ни моих уговоров, ни плача
и право же —
не слушай, как ветер вцепился в сосёнок колючие клавиши,
не слушай, навеки натянем купальные шапочки на уши,
нырнем под волну и, как щепки, взлетим над волною,
и кто мы, когда начинают стихии творенье иное,
и как добрести среди соли, песка и неожиданного зноя
до синей полосы, где сходятся с хлябью земною
небесные тверди, до хлопанья кресел на титре «Конец».

Заглавие стихотворения – термин истории кино, у меня связанный с польским кино. Изображенный в стихотворении неопределенно-прибалтийский пейзаж похож не только на виденные мною Куршскую косу и Юрмалу, но и на кадры из невиденного к/ф «Последний день лета», попадавшие в книги по истории кино и польских журналах начала 60-х.

«Вот в чем, а впрочем, и не в том вопрос...»

Вот в чем, а впрочем, и не в том вопрос,
а просто в том, колючий, мягкий мох ли,
а ты ни в сон, ни в чох, и только охни,
когда росток сквозь позвонок пророс.

Так, прирастая к стенкам бытия,
в небытие, в траву, хвои и стланик
ты прорастаешь, приуставший странник,
и эта пристань предпоследняя твоя

все ярче, все сильнее зеленеет,
покуда небо звездное бледнеет.

«Не в крыле самолета...»

Не в крыле самолета,
зоревых облаках,
ощущенье полета
в деревянных быках,

в неподвижных опорах,
вбитых в глину на треть,
в тех, мимо которых
в речку навзничь лететь.

«Печальное не более, чем прочие...»

Печальное не более, чем прочие,
прощание двоих через порог.
Так эти ночи вас не обморочили?
Прощайтесь. Только прочен ли залог

от обмороков? С досточки порога
какими петлями пойдет дорога
по обе стороны воздвигнутой черты?
В каких ухабах слез не удержишь ты?

И на какой – бетонной ли, проселочной —
в сияньи фар, в тумане, как во сне,
ему, как свет в лицо, ударит голос твой:
«Прощай, прощай, да помни обо мне».

«О ком ты вспомнила, о ком ты слезы льешь...»

О ком ты вспомнила, о ком ты слезы льешь
(и, утираясь, говоришь, что слезы – ложь)
в бетонной скуке станции Ланская,
в хлопках автоматических дверей,
где небо с пылью склеено... – Какая
тоска и гарь! – Так едем поскорей!

И вот поехали, и вот последний крик,
как стронулся, таща тяжелый след, ледник,
теряя валуны в межреберных канавах,
в мельканьи пригородов, загородов, дач,
в желтоволосых придорожных травах
и в полосах удач и неудач.

Когда что плоть, что дух, как лед, истаяли,
куда ж нам плыть, мой друг? Куда и стоит ли?
На перестуках шпал, на парусах обвислых,
на карликовых лодочках берез
куда ж нам плыть? В каких назначить числах
отход от пристани, не утирая слез...

...в бетонной скуке станции Ланская... ⇔ Ланская – под Ленинградом (ныне Санкт-Петербургом), первая от Финляндского вокзала, еще в черте города, остановка на пути в Комарово.

«В малиннике, в крапивнике, в огне...»

В малиннике, в крапивнике, в огне
желания, как выйдя на закланье,
забыть, что мир кончается Казанью
и грачьим криком в забранном окне.

Беспамятно, бессонно и счастливо,
как на треножник сложенный телок...
Расти, костер. Гори, дуга залива.
Сияй впотьмах, безумный мотылек.

...забыть, что мир кончается Казанью / и грачьим криком в забранном окне. ⇒
За окнами корпусов Казанской психиатрической тюрьмы неумолчно кричали грачи (как в «Давиде Копперфильде» Диккенса, которого я перед тем читала в Бутырке).

«Фонарик мой, качайся в облаках...»

Фонарик мой, качайся в облаках,
роняя тень и свет по взмаху ветра
и разгоняя мрак и страх.

Твой слабый жар вгоняет в дрожь,
как прогоревший жар голландской печки,
на белых кафельках синеют человечки,
и синий дым на снег у Черной Речки
ложится, как узорный след галош...

...и синий дым на снег у Черной Речки... ⇒ Черная Речка – место (зимней) дуэли Пушкина.

«Цвет вереска, чернильный блеск...»

Цвет вереска, чернильный блеск
мохнатых моховых снежинок,
букет, подброшенный под крест,
как складывалось, так сложилось,
как загадалось, так в ответ
аукнет, не на что, пожалуй,
пожаловаться, как бежалось,
так и припасть придет к траве
моей дырявой голове.

Цвет вереска, чернильный блеск / мохнатых моховых снежинок, / букет, подброшенный под крест... ⇒ Крест на могиле Ахматовой, а два первых стиха – комаровский пейзаж по дороге к кладбищу (по той, которая «не скажу, куда» – Ахматова, «Приморский сонет»).

«Который час? (Какая, кстати, страсть...»

Который час? (Какая, кстати, страсть
разрыв пространства исчислять часами,
как будто можно, как часы, украсть
часть света, что простерта между нами...)

Который час? (Междугородный звон
меня, как трубку с рычага, срывает,
в который мир проплыть? в который сон?
в который миг нас память оставляет?)

Который час? (Кровит кирпичный Спас,
и чье же на моей крови спасенье?
и соль из глаз в селедочный баркас,
и соль земли – прости, который час? —
уже забыла привкус опреснения.)

Кровит кирпичный Спас, / и чье же на моей крови спасенье? От Санкт-⇒ петербургского
собора Воскресения Христова, в обиходе Спаса-на-Крови.

«На пороге октября...»

Маше Слоним

На пороге октября
с полосы аэродрома
поднимается заря,
как горящая солома.

На пороге зрелых лет,
словно пойманный с поличным,
трепыхается рассвет
над родимым пепелищем.

На пороге высоты,
измеряемой мотором,
жгутся желтые листья
вместе с мусором и сором.

На пороге никуда,
на дороге ниоткуда
наша общая беда —
как разбитая посуда.

Маша Слоним — моя подруга, которой посвящено стихотворение, тогда уезжала в эмиграцию, в то время как я еще только собиралась. Сейчас она — одна из немногих прочно вернувшихся.

«Не спи на закате...»

Не спи на закате,
приснятся крылатые львы над каналом,
расцепятся цепи,
взлетишь и погибнешь,
Икар, ламорисовский шар,

в бетонном колодце,
на лестнице у ростовщицы,
между печкой и шкафом,
не спи на закате, не спи,

холодной водою,
горькими слезами
отгони сонливость,
голова к подушке,
крылатые цепи,
чугунные крылья,
голова – чугун...

Отгони себя за борт канала,
чтоб чернела вода и сминала
вспоминанье и сон
незакатных времен.

Не спи на закате... ⇒ По народному поверью, правоту которого легко проверит каждый, спать на закате плохо: не высыпаясь, встаешь с тяжелой головой, чувствуя себя разбитым.

...приснятся крылатые львы над каналом, / расцепятся цепи (...) крылатые цепи, / чугунные крылья... ⇒ Крылатые львы (грифоны) на цепном Банковском мосту через канал Грибоедова в СПб.

...взлетишь и погибнешь, / Икар, ламорисовский шар. ⇒ Икар – общеизвестный герой др.-греч. мифологии, взлетевший слишком близко к солнцу, несмотря на предостережения отца, и упавший, потому что растаял воск, скреплявший его крылья; в к/ф французского режиссера Ламориса «Красный шар» воздушный шарик гибнет, сбитый мальчишками из рогатки.

...на лестнице у ростовщицы... «Он уже был на лестнице... Переведя ⇒ дух и прижав рукой стукавшее сердце, тут же нащупав и оправив еще раз топор, он стал осторожно и тихо подниматься на лестницу, поминутно прислушиваясь. Но и лестница по ту пору стояла совсем пустая. (...) Потом еще раз прислушался вниз на лестницу, слушал долго, внимательно» (Достоевский, «Преступление и наказание»).

...между печкой и шкафом... ⇒ «Или вправду там кто-то снова / Между печкой и шкафом стоит?» (Ахматова, «Поэма без героя»), в свою очередь, идущее от: «С правой стороны этого шкафа, в углу, образованном стеною и шкафом, стоял Кириллов...» (Достоевский, «Бесы») и: «В самую эту минуту, в углу, между маленьким шкафом и окном, он [Раскольников] разглядел как будто висящий на стене салоп...» (Достоевский, «Преступление и наказание»). Приводя эту последнюю цитату, В.Н. Топоров пишет: «...один из важнейших мотивов сна Раскольникова (...) многократно повторенный в разных комбинациях (шкаф, печь, стена, окно) в

русской литературе» (О структуре романа Достоевского в связи с архаичными схемами мифологического мышления. Прил. 4 // В.Н. Топоров. Миф. Ритуал. Символ. Образ), а дальше, в прил. 7, озаглавленном «Узость – ужас», приводит еще целый ряд схожих примеров, прежде всего из Достоевского.

«Гримасою прощальной...»

Гримасою прощальной
на мой закат печальный,
на пройденный зенит,
на мой печальный запад,
где прежней жизни запах
едва в ушах звенит,

на мой холодный ужас,
на мой остывший ужин,
на пайку новых лет,
и оклик твой печальный,
плеснувший в берег дальный,
последний мне привет...

«Как молчаливы эти ивы, эти вербы...»

Как молчаливы эти ивы, эти вербы,
хоть вдоль дорог и вширь полей гудит вихорь,
в нас еле живы еле внятные напевы,
плач предков, клёкот журавлей, судьбы прихоть.

Как терпеливы эти руки в теле глины,
хоть полночь сжала горизонт серпом лунным,
забыть мотивы, не запеть всё те же гимны,
«Крайобраз по...», и новый фронт открыт гуннам.

«*Крайобраз по..*» ⇒ Начало польского названия к/ф Вайды «Пейзаж после битвы» («*Krajobraz po bitwie*»).

«Тень мой, стин мой, тихий стон...»

Тень мой, стин мой, тихий стон
струн, натянутых на стены,
камерная музыка
и казарменная брань.

Я и до сих там брожу,
брежу, грежу и тужу,
в ту же сдвоенную решку
зачарованно гляжу.

Все свое ношу с собой:
этажи в пружинных сетках,
вечное отчаянье,
ежедневное житье.

Только тень в стране теней
все яснее и плотней,
и сгущается над нею
прежний иней новых дней.

Тень мой, стин мой... ⇒ «Тень» (cień) по-польски мужского рода, отсюда «тень мой»; «стин» (stín) – тоже тень, но по-чешски.

...камерная музыка / и казарменная брань. ⇒ «Камерная музыка» – соединение музыкального термина, притом что музыка звучит в тюремной камере, и «блатной музыки» – блатного, воровского языка (в наше время – «фени»).

...в ту же сдвоенную решку... ⇒ См. прим. к стих. «Вздохнет, всплакнет валторна электрички...».

...этажи в пружинных сетках... ⇒ В тюрьмах между этажами (в лестничных пролетах) обыкновенно натянуты сетки (против самоубийств?).

«Как искрится черемуховый ворох...»

Как искрится черемуховый ворох
в окно наддавшей ходу электрички,
в поспешных проводах, оборванных укорах
одна к одной, ломаясь, гаснут спички.

Тебя уносит мутное стекло,
пустой перрон меня назад относит,
мне – сумерки, мне – сумрак на откосе,
лишь бы тебе, лишь бы тебе светло...

«Взлетаю вверх усилием слабых плеч...»

Взлетаю вверх усилием слабых плеч
и, колотя по воздуху кистями,
в туман стараюсь, в облако облечь,
что одевалось мясом и костями,
да говорят, игра не стоит свеч,
и дружескими, милыми горстями,
пока я набираю высоту,
сырая глина скачет по хребту.

Из теплых туч не выпаду росой,
и стебельком асфальт не прорасту,
смерзается дыхание густое
в колючий столб и хвалит пустоту...
Чего я стою? Ничего не стою,
но всё как на столпе, как на посту
в пыли морозной висну без опоры,
взирая слепо книзу на заборы,

на изгороди, проволоки, плетни,
на разделенье мира, на раздоры,
извечные колодца и петли
бесплодны за меня переговоры,
и, вытолкнута из-под пят земли,
я все лечу, лечу туда, где скоры
расправы и суды, где, скомкав речь,
на вечной койке разрешат прилечь.

...на вечной койке разрешат прилечь. ⇒ «Вечная койка» на тюремно-лагерном жаргоне означает – означала – спецпсихбольницу (психиатрическую тюрьму).

«Как хочется мне...»

Как хочется мне
вам
в дар принести балладу,
да дождь на складу по дровам
сбивает со склада и ладу,

по мелкой лежалой щепе,
по грязной шершавой бересте,
и дует из дыр и щелей,
лома фортепьянные кости.

Чахотка бескорыстного Шопена
в наручниках невидимых, но ржавых —
не тема, не мелодия, но сор, труха и пена...
Ни дома, ни двора, одни руины в травах.

Весна, вихляясь, пляшет на погосте,
и до того жирна зола столицы,
что ты поймешь: мы не проездом в гости,
мы здесь в гостях, ненадолго, как птицы.

...вам / в дар принести балладу... ⇒ «Вам в дар баллада эта, Гарри...» (Пастернак, «Баллада»).

...балладу, / да дождь на складу по дровам / сбивает со склада и ладу... ⇒ Ср.: «Улыбнись, моя краса, / На мою балладу; / В ней большие чудеса, / Очень мало складу» (Жуковский «Светлана») (заметил Г. Левинтон).

Чахотка бескорыстного Шопена... ⇒ «Опять Шопен не ищет выгод» (Пастернак).

Ни дома, ни двора, одни руины в травах. // Весна, вихляясь, пляшет на погосте, / и до того жирна зола столицы... ⇒ Пейзаж снесенной с лица земли Варшавы (после восстания 1944).

...мы не проездом в гости, / мы здесь в гостях... ⇒ «...Проездом в гости из гостей / Подслушать пенье на погосте / Колес и листьев, и костей» (Пастернак, «Опять Шопен не ищет выгод...»).

«– Так ты летишь, смешная?..»

– Так ты летишь, смешная?
Куда и для чего?
– Да я сама не знаю,
не знаю ничего,
туда, где я не знаю,
не знаю никого,
ни друга, ни подруги,
ни милого моего.
Под круглое окошко
вползают облака,
на них наверняка
не вырастет морошка
холодные бока,
накатана дорожка,
одно смешно немножко —
прощальное «Пока»...

«Не встретила бы нас Москва дождем...»

Тане Чудотворцевой, задавшей мне первую строчку

Не встретила бы нас Москва дождем,
но лучше уж дождем, чем вязким зноем,
но лучше зноем, чем по ребрам батожем,
но лучше батожем, чем сломленным устоем

и ненадежной крышею на трех
от зноя и дождя сгнивающих опорах,
где выдувает сено из прорех
пустой сквозняк, чей звук – не звон, а шорох.

Не встретила бы нас Москва вообще,
но лучше уж Москва, чем холм безлесный,
чем тот сквозняк, ползущий из щелей
зернохранилища развалины бескrestной.

«Мое любимое шоссе...»

Мое любимое шоссе
в рулон скатаю, в память спрячу,
как многолетнюю удачу,
как утро раннее в росе.

И даже Вышний Волочёк,
где ноздри только пыль вбирают
и где радар с холма взирает,
как глаз, уставленный в волчок.

Еще и на исходе дня
тревожный тяжкий сон в кабине,
и вздохи в зное и в бензине,
и берег, милый для меня...

«Зачем на слишком шумный Сен-Жермен...»

Зачем на слишком шумный Сен-Жермен,
останемся на этом перекрестке,
на тлеющей асфальтовой полоске
послеполуденных ленивых перемен,

где я сама себя не узнаю
и близоруко щурюсь на витрину,
и в темных стеклах стыну, стыну, стыну,
и в светлых облаках, встречающих зарю,
горю, и горько слезы лью, и стыну, и горю.

«Как джинсы начинают выгорать...»

Как джинсы начинают выгорать,
так и апрель припахивает осенью,
лишь пережди жару, и тут же озимью
гусиной кожи покрывается тетрадь.

И нас прихватывает легоньким ледком,
то ли недавним, то ли на полгода
вперед, и смотрит в сторону погода,
как если бы ты с нею незнаком,

как если бы она не знак, но звяк
посуды грязной в запертой кофейне,
как если бы она не ветра веянье,
а просто так, прихлопнутый сквозняк.

«И за что мне все это досталось...»

И за что мне все это досталось —
эта слабость на Новом мосту,
эта горькая поздняя сладость
серых набережных в цвету,

и ни шатко ни валкого мая
ожидаемая маета,
и любовь моя, полунемая,
не внимая, но все понимая,
заглядевшаяся с моста...

...эта слабость на Новом мосту... – Новый мост – самый старый и, по-моему, самый красивый парижский мост.

«Дождь похож на дождь, но не...»

Дождь похож на дождь, но не
здешний дождь на Подмоскowie.
Что оторвано, и с кровью —
то оторвано вполне.

Дождь похож на все дожди,
как прощанье на прощанье,
хоть бы резкое «С вещами!»,
хоть бы так щемит в груди.

Дождь похож на летний дождь
и проходит так же быстро,
как проскакивает искра
между *Нет* и *Ну* и *что ж...*

...хоть бы резкое «С вещами!»... ⇒ «С вещами» выкликают из камеры на этап (или при переводе в другую камеру).

«Хотела только вымолвить: «Пари...»

Хотела только вымолвить: «Пари
пушинкой в теплых сумерках эфира,
счастливым светлячком в ладони мира,
горящим перышком угаснувшей зари...»

Но краткий дождь меня охолодил,
и плакала я, обнимая стенку,
прислушиваясь мокрому оттенку
на розе ветра всемых ветрил.

Куда меня ты занесла, метель
дождя, и солнца, и волны воздушной,
удар грозы среди долины душной,
и ливень, как лунатик непослушный,
в разгар луны вцепившийся в постель.

Я обломаю ногти о камней
классическую четкую рустовку
и смертный час возьму наизготовку,
как тот солдатик милую винтовку,
скуластым глазом прислоняясь к ней.

«Пари / пушинкой... и т. д. ⇒ Кроме повелительного наклонения от глагола «парить»,
Пари – так произносится Paris, французское название Парижа.

«Я изменяю вам всем с этим городом...»

Я изменяю вам всем с этим городом
и все равно только вам я верна,
но не скажу: «О, придут времена,
зной этот адский заменится холодом

сумерек белых над серой Невой,
серой Невою заменится серая Сена...»
Нет, никогда... Неизменна измена,
вспорота городу верности вена,
что ты кружишь над моей головой,
черный ворон, я не твой...

«Непоправимо холодно...»

Непоправимо холодно
в сумеречных переулках,
жар позапрошлого полудня
инеем сел в простенках,
на календаре – позавчера,
то же – на пухлых прелых булках,
вылеживающих вечера,
меняясь в оттенках.

Подсветивши фасады площади,
уместившейся на ладони,
пробредаешь по стенкам ощупью,
потому что ладонь зажата,
потому что скрученного кулачка
не отпустишь и на кордоне,
полузадохлого светлячка
не выдашь в рукавицы солдата.

А что там значится в календаре,
какое, милые, на дворе
тысячелетье и день недели,
– это выдохни и забудь,
мы живем не когда- и не где-нибудь,
но где-то, хоть в гетто, но в самом деле.

Подсветивши фасады площади, / уместившейся на ладони... ⇒ Это пл. Фюрстенберга, самая маленькая площадь в Париже. На ней же происходит действие стих. «Там, где Кривокардинальский переулок...» (см. ниже).

«Разговор, которого никогда...»

Разговор, которого никогда —
Разговор, к которому ниоткуда —
Набережные захлестывает вода,
но река безымянна —

Безымянна, как глиняная посуда,
переполненная через край
ожиданием чуда или хотя бы не чуда,
чересчур ожиданием —

Ожиданьем чего-нибудь или чего-то,
называньем по имени мокрых камней,
и размывом границ, и отплытием флота,
отчаливанием щепочек от трухлявых пней,

еще не чающих океана
и не оглядывающихся назад,
на полусумрачный палисад,
на имя Лютеция или Секвана,
но увы — — —

...на имя Лютеция или Секвана.. ⇒ Лютеция – латинское название Парижа, Секвана – латинское (и польское) Сены.

...но увы – — – ⇒ «Но, увы! не Варшава, не Ленинград» (Ахматова, «Из цикла «Ташкентские страницы»»).

«Мокро, холодно, свежо...»

Мокро, холодно, свежо
над катящейся рекою.
За вертящейся строкою
не поспеешь, не нагонишь,
только смысл из рук уронишь
да вздохнешь нехорошо.

Мокро, холодно, тепло,
горько, жарко, переменно.
Горьким пламенем примера
не возжешь, не расплаешь,
близоруко протираешь
запотевшее стекло.

Мокро, холодно со щек.
Сухо, горько в скулах сжатых.
ОСТАНОВИ, ВАГОНОВОЖАТЫЙ!
Отыщи останки рельса,
трепыхнись, потом забейся,
словно бабочка в сачок.

Отыщи останки рельса... ⇔ В Париже в нескольких местах еще видны (или были видны в первые годы моей здесь жизни) остатки трамвайных рельс. В последние 10–15 лет сначала в предместьях, а теперь и по окраине Парижа проложены или прокладываются новые линии трамвая.

«Пропоешь, и припев повторишь, и примолкнешь...»

Пропоешь, и припев повторишь, и примолкнешь,
как под дождь попадешь, хоть гори – не сгоришь, а промокнешь.
(Занимается серая заря.)

Между ночью и днем ни зарницы, ни разницы нету,
за границей, за дном бессознания мрежи на очи надеты.
(Брезжит от фонаря.)

Между волком и сукой только зубы оскалены разно,
скользким утром и в сумерках лампы слепые запáлены праздно.
(«Одна заря загрызть другую...»)
Получив между глаз, меже очи, от Господа данных,
как раз различишь, что за час на часах дня ли ночи недавних.
(Чужую жизнь, недорогую.)

Вот когда воспоминания, нахлынув,
как прожектор, наведенный издаля,
сволокут твои останки в город Хлынов,
где холмами загорбляется земля,

где засушливое царственное лето,
где владетельная мерзлая зима,
где никто ни в чем не требует ответа
от сошедших с недалекого ума,

где черемуха качается
и наносит холода
и ничто не приключается
никому и никогда,

и где на заре на зореньке
медлительная метель
укроет тебя, угреет тебя,
усыпит тебя до беспамяти,
без памяти и без страсти...

Метет, пометет, заметет помелом,
и поделом, и поделом,
промежду двух зорь, четырех челюстей
припоминанья страстей
отметённых, отлетевших,
промежду двух зол и двойных обид
зеницы души обретают вид
не сожженных, а истлевших.

Между волком и сукой только зубы оскалены разно... ⇒ Известное французское выражение «час между волком и собакой» означает сумерки.

«Вот она, la vie quotidienne...»

Вот она, la vie quotidienne,
в громыханьи грязных метро,
сонный взор куда ты ни день,
белый день вопьется остро,

белый день взовьется в зенит,
сонные прорежет глаза,
заведет тебя, заманит,
закружит, кружится, за-

вертится, катясь на закат
невеселым веретеном,
падающий свет из окна,
гаснущий закат за окном,

под мостами темь-чернота,
сигареты тень изо рта,
холодок гранитной скамьи,
хладные объятья мои.

La vie quotidienne (франц.) – повседневная, будничная жизнь.

«Снег с Вогез обращается в облако...»

Снег с Вогез обращается в облако
и над пересвистом перепелок,
над тягучестью Ламского Волока
выпадает на голый проселок.

Эта капля плывет на стекле ветровом,
мимо проволок и перекличек,
мимо мирно прикрытых растеньями рвов
и людей как обугленных спичек.

И я едва прикрываю глаза
и гляжу, как по вечным ухабам тянется
моя несмываемая слеза,
моя нелегальная посланница.

И стрелочник стрелку часов переводит,
и вязнет и грузнет шестерка колес,
и в круговороте воды в природе
росы и тумана не больше, чем слез.

Снег с Вогез... ⇒ Вогезы – горный массив на северо-востоке Франции.

...мимо мирно прикрытых растеньями рвов /и людей как обугленных спичек. ⇒ Имеются в виду массовые захоронения наподобие катынского (тогда еще не были раскрыты захоронения отечественных расстрелянных, кроме винницкого).

«Доски дома поскрипывают, просыхая...»

Доски дома поскрипывают, просыхая,
кто-то бродит под утро, переступая
с половицы на половицу.
Кто-то сети плетет и силки готовит
и уже предвкушает, как нынче изловит
неуловимую птицу.

Я еще не уснула, но крылья свисли
от лопаток до пяток, как парус на Висле
в безветренную погоду,
как русалочий стон воздушной тревоги
и как ветка сирени на песчаной дороге,
обломленная сходу.

На безоблачном, на безознобном рассвете
я сторожко прислушиваюсь, как сети
заплетаются, и засыпаю.
Привиденья рассеиваются, просыпаясь
в беспробудный сон, как песок сквозь пальцы.
Свежий ветер напрягает парус.

«— — — — и на четвертом стуке...»

— — — — и на четвертом стуке
судьба высаживает дверь,
и завывает суховей,
степи заламывая руки,

и ржавой проволоки моток,
скрутившись в перекасти-поле,
вцепившись в марево слепое,
в пыли катится на восток.

Как сбивчивы твои, судьба,
сухие пыльные удары,
бумаг обугленных курганы
и выбитого звон стекла.

Дверь об одной петле во мгле
встает над грешною землею,
и август выглядит зимою
в тюремно-матовом стекле...

— — — — и на четвертом стуке / судьба высаживает дверь (...) Как сбивчивы твои, судьба, / сухие пыльные удары... ⇒ Четыре тире – попытка изобразить «четыре удара судьбы», открывающие Пятую симфонию Бетховена (и ставшие позывными Би-Би-Си).

«Это жизнь продолжается, это жизнь...»

Это жизнь продолжается, это жизнь
поколачивает окном о висок,
это она подсказывает: – Не откажись!
и подсовывает новый кусок

железнодорожного полотна,
встающего поперек горла,
потому что вид из одного окна
наизнанку зеркальный вид из другого.

«О бедная, дряхлая, впавшая в детство...»

О бедная, дряхлая, впавшая в детство
Европа, кому ты оставишь в наследство
последний кабак, и последний бордель,
и Хартию Вольностей – о, не в бреду ль

ее сочиняли бароны и эрлы,
вином успокаивая нервы,
надтреснутые в треволненьях битв,
когда неизвестно, кто прав, кто побит...

О бедная, этот мой стих надмогильный
– лишь доказательство бессильной
и безысходной любви до конца
к последним судорогам лица

твоего, иссеченного сетью скважин
окопов, когда пехотинец неважен,
но столько свободы для сквозняков,
грузовиков и броневиков.

«В седой провинции свинцовый океан...»

В седой провинции свинцовый океан
колотится о сумрачный бетон.
Еловый Новый год не лечит старых ран,
отложим всё, как прежде, на потом,
откинем, отшвырнем, отбросим, как стакан,
небьющимся не звякнувший стеклом.

Бросаясь на берег, прибоя мишура
не разукрасит сумрачную ель.
В свинцовые, безвыходные вечера
под их безлюдный выходной Ноэль
печаль светла, как седовласое вчера,
как с бедного Башмачкина шинель.

...под их безлюдный выходной Ноэль... ⇒ Ноэль – по-французски Рождество.

«Флейта в метро исполняет равелеподобное нечто...»

Флейта в метро исполняет равелеподобное нечто,
не Болеро, но берущее за душу тоже.
Утро набито битком, как вагон второго класса,
отзвуком битв ночных, перекишим запахом кваса.

Нищий слепой и слепой настоятель почтенного причта,
сбившись с толпой, воздыхают оба «О Боже!»
Выдав плевком билет, в падучей забила касса,
сдачу кулаком выбивает борец угнетенного класса.

Всё ж на челе найди различенье того, что непрочно и прочно,
как на челне развлечение оплескивать жаркую кожу.
Не говори красно, не говори прекрасно,
но сотвори, вжавшись в окно, крест возле рта троекратно.

«Смотри, сегодня Сена – серо-...»

Смотри, сегодня Сена – серо-
буро-зеленая, а я,
иссиня-бледная, весенне
гляжусь в течение ея.
Когда нехватка витаминов
дрожит в слабеющей скуле
улыбочкой псевдоневинной,
скользящей ангельскою миной,
едва заметной, еле видной,
землисто-бледной половиной
Царства Господня на земле,

тогда уткни и лоб, и плечи
в перила Нового моста,
не отразься ни в том, что плещет
под ним, ни в том, что так трепещет
над нами, там, где ловчий кречет
простор сурового холста

рвет с треском. Поклянись немногим,
своим имуществом убогим,
своим истертым кошельком,
полуразвеянной подушкой,
полупровальной раскладушкой,
затоптанным половиком,

но поклянись, что этот день
в жемчужной сырости февральской,

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.